

"После первого стакана абсента ты видишь вещи такими, какими ты хочешь их видеть; после второго ты видишь их такими, какими они не являются; в конце концов, ты начинаешь видеть вещи такими, какие они есть, и это самое ужасное..."

Оскар Уайльд

Так получилось, что по Праге мы гуляли с двумя книгами в рюкзаке, попеременно глядявая то в одну, то в другую. Первой был, разумеется, путеводитель, а второй — "Шесть прогулок в литературных лесах" Умберто Эко. Необходимость есть не что иное, как пересечение случайностей. "Шесть прогулок" оказались в моем рюкзаке достаточно случайно: таксист уже осторожно гуднул, напоминая о себе, и я схватил со стола первую попавшуюся книгу, дабы чем-то скрасить три часа самолетного безделья.

Не менее случайным можно считать замысел автора "Путеводителя по Праге", разбившего свою книгу на шесть маршрутов. После поездки я специально зашел в "Стеймацкий" и поинтересовался другими путеводителями: каждый из них предлагал другое число прогулок.

Соединившись, эти две книги побудили нас совершить все шесть предписанных маршрутов, разговаривая при этом о литературе.

Впрочем, оборот "так получилось" скрывает изрядную долю лукавства: Эко лежит на моем столе почти год, и я неоднократно перечитывал его, каждый раз со вздохом непонимания возвращаясь к началу.

Моя жена Анна, литературовед, лишь улыбалась, наблюдая страдания мужа. Ее всепонимающая улыбка не оставляла писателю никакой надежды, просто никакой, даже на самом дне кофейной ложечки.

Сегодняшние аналитики далеки от наивных представлений, будто критика должна уловить намеки, оценить литературную игру, расшифровать запутанные места. Аналитик воспринимает текст как первичный материал для построения собственной интерпретации, и чем резче она будет отличаться от трактовки автора, тем сильнее закивают головами собравшиеся аналитики. Текст для него заготовка, на иврите — гелем, голем.

Он встретил нас у входа в Еврейский квартал. Огромный, красный, цвета глины с берегов Влтавы. Его лицо кого-то напоминало, но кого, я никак не мог сообразить.

Отпраздновать долгожданную встречу мы отправились в соседнее кафе "У Голема". Хозяин квартала остался рыжеть на противоположной стороне улицы. Выпить с нами он не мог.

Голодно соблюдающему кашрут еврею в гульливой Праге. Кроме кофе да пива, ничего не закажешь. Пришлось и на этот раз довольствоваться двумя чашечками "эспрессо" с рюмкой зеленого абсента в честь "со свиданьем".

О губительных свойствах этой полынной настойки ходит немало слухов. Однако при ближайшем рассмотрении большинство из них оказываются наветами.

Влияние абсента на европейскую культуру сравнимо только с влиянием литературы. Им увлекались Хемингуэй, Верлен, Рембо, Уайльд и, конечно, самый знаменитый его употребитель — Ван Гог.

Многолетнее исследование абсента, проведенное доктором Вульфом из Калифорнийского университета, показало, что передозировка туйона, содержащегося в абсенте, изменяет восприятие цвета: человек видит все в желтых тонах. Знаменитая картина Ван Гога "Звездная ночь" с желтыми кругами вокруг звезд — типичный синдром отравления туйоном.

Пригубив, я бросил очередной взгляд в сторону Голема и замер. На противоположной стороне улицы стоял памятник тель-авивскому поэту Эли К. Сходилось все: осанка, каменная тяжесть плеч, взгляд.

— Уж больно крепкий кофе заваривают в пражских кофейнях, — покочала головой Анна, выслушав мои подозрения. Под кофе она имела в виду абсент.

— Если выпить достаточно этого напитка, — продолжила Анна, — то можно увидеть все, что захочешь увидеть: прекрасные, удивительные вещи. Так утверждал Оскар Уайльд.

— Допустим, что Голем — это Эли К., — предположил я, пускаясь в опасное плавание между ассоциациями и утверждениями, — и представим себе, будто абсент лиминален. Он побуждает сознание реализовать спящие стимулы, суля возможность перейти незримую границу между миром присутствия и миром отсутствия. Но тогда литературное произведение тоже лиминально!

Подобно полынной настойке, литература — это вход в иную реальность, отличную от той, где в данный момент находится наблюдатель. Можно предположить, будто литературное произведение, погружающее читателя в такую реальность, есть своего рода абсент.

ШЕСТЬ ПРОГУЛОК

— Но тогда и Голем абсентен, — улыбнулась Анна, выслушав мои построения.

— Каким образом? — спросил я и заказал еще две рюмки. Судя по зачину, начинался интересный разговор. Рыжий Эли К. одобрительно поглядывал на нас сквозь оконное стекло. Ему было приятно, что говорят о нем.

Анна вытащила из сумочки авторучку и, черкнув по салфетке, протянула ее мне.

— Погляди.

На салфетке было всего два слова: absinth и absent.

— Absent по-английски — отсутствующий, absence — отсутствие. С одной стороны, абсент вызывает забыть, с другой — при помощи галлюцинаций навевает воспоминания. Это катализатор, чудесный эликсир, способный превратить существующее в несуществующее, а исчезнувшее — вернуть в реальность. Абсент — символ Праги, города дрожащих теней прошлого.

— Продолжай! — воскликнул я, отхлебывая из рюмочки. — Мне нравится, как ты говоришь.

— Голем — тоже незримое присутствие, (absent presence), присутствие в отсутствии: сейчас его нет, но он повсюду, раньше он был, а теперь он нигде. Абсент — это волшебное заклинание, сначала оживившее комья глины, а затем заставившее великана рассыпаться в прах. Поэтому Голем — наполовину предание, наполовину легенда — абсентен.

— Да, — согласился я. — На этой рыжей фигуре космическим образом пересеклись бесконечности легенды и предания. Если принять абсент за мерило лиминальности, то Голем и литература, несомненно, абсентны.

Заказав еще по чашечке кофе, мы продолжили разговор. За окном плыли в жарком августовском воздухе раззолоченные особняки, возведенные на месте разрушенных еврейских кварталов.

Точная информация, заключенная в предании, обяывает, а цель легенды — превратить знание в игру, в ни к чему не обязывающую литературу. Голем у Мейринка — страшилка, разгуливающая по улицам; пражане произносят его имя, расширяя глаза и понижая голос. Он заполняет необходимое человеческой душе пространство ужаса, материализуя его на конкретном предмете. Страшно, но не очень. Вернее, и сладко, и страшно, и хочется этой жути еще и еще.

К преданию доверие слушателя абсолютно, отсюда и сила возникающих обязательств, в литературе же оно носит характер негласного соглашения, которое Колридж определил как "воздержание от недоверия". Читатель знает, что автор рассказывает вымышленные истории, но сие вовсе не означает, будто автор лжец. По словам Джона Селла, автор делает вид, будто говорит правду, а читатели делают вид, будто истории действительно имели место.

Поэтому, рассказывая о ночных прогулках Голема, пражане расширяют глаза от ужаса, но не более, ибо прекрасно сознают, что это вымысел, а евреи, взбираясь на чердак Старонового синагоги, никогда не наступают на пятую ступеньку, точно зная, что под ней лежит глина, в которую рассыпался Голем. И неважно, что при недавнем ремонте синагоги под этой ступенькой ничего не обнаружили — предание изменило жизнь так, чтобы она подтверждала предание. Соглашение переросло в закон.

Литература паразитирует на действительности, уплощая и упрощая ее в угоду человеческому восприятию. Разницу между легендой и преданием хорошо иллюстрирует следующая история, записанная чехами. Я наткнулся на нее в книжке "Правский Голем", купленной в магазине "У Кафки", в двух шагах от еврейского квартала, и прочитал, не сходя с места, прямо перед кассой. Белобрысенная продавщица с удивлением наблюдала, как слезы умиления и восторга капались по моим щекам.

"Любуша, основательница Праги, считалась прорицательницей: на смертном одре она призвала своего сына Незамысла и, удалив всех, зашептала холодеющими губами:

— Я возвращаюсь к предкам и перед смертью хочу раскрыть тебе будущее. Во времена, когда твой внук станет властелином Чехии, в наших лесах станет искать убежище изгнанный маленький народ, верящий в одного-единственного Б-га. Пусть этих людей примут радушно, и пусть твой внук возьмет их под свою защиту, так как они принесут Чехии плодородие.

Незамысл поклялся исполнить волю матери.

Прошло сто лет, много воды утекло во Влтаве, много крови пролилось, много буй-

ных голов слетело с плеч, и наказ прорицательницы почти позабылся.

В ночь после коронации Гостивита Любуша явилась к нему во сне:

— Настало время, когда мое предсказание должно свершиться. Скоро маленький народ, верящий в одного Б-га, явится с просьбой о помощи перед твоим престолом. Прими его гостеприимно и возьми под свою защиту!".

Весной 850 года венды перешли через Лейту, вторглись в Московию и, причинив немалые разрушения, изгнали еврейскую общину. Спустя десять лет, изгнанный весь тогдашний мир, нигде не найдя жалости и пристанища, несчастные добрались, наконец, до Чехии. Двое старейшин попросили аудиенции у Гостивита и были немедленно приняты. Князь разговаривал с гостями весьма милостиво:

— Кто вы и чего желаете? — спросил он, после тщетных попыток угостить старейшин яствами с княжеского стола.

— Мы спокойный народ, — ответствовали гости, — малый по числу и слабый по силе и следуем учению Моисея. Веруем мы в одного-единственного Б-га, всеведущего, всемогущего, справедливого и милостивого, чья воля наполняет весь мир. Прими нас под свою защиту, князь, мы станем твоими верными подданными и будем просить нашего Б-га, чтоб Он ниспослал твоему народу процветание, а тебе — удачу и славу.

Князь сразу понял, что это тот самый народ, о котором возвестила ему Любуша, однако, не стал быстро принимать решение, а заговорил мудро и величественно, как и подобает правителю:

— Подождите ответа два дня. Возвращайтесь послезавтра, а я сообщу, смогу ли внять вашей просьбе.

На следующее утро по велению Гостивита все владыки Чехии собрались в замке.

— Как и предвидела основательница рода, — начал князь, — к нам пришел маленький угнетенный народ, в поисках защиты и помощи. Я бы с радостью выделил им место, так как они принесут нам счастье и благополучие, но отложил решение до завтра, потому что сначала хочу выслушать ваше мнение.

— Сделай, как ты хотел, — ответили владыки. — Так велела Любуша, да будет так!

Князь выделил евреям место на берегу Влтавы и принял их под свою опеку. Маленький народ верно держал слово: по свидетельству самого старого летописца Чехии, Космы, только благодаря мощной поддержке пражских евреев Гостивиту удалось полностью изгнать немцев из страны".

На этом заканчивается умиленная легенда. Предание, оформленное в виде летописи, несколько по-иному освещает гостеприимство чешского народа и его правителей.

"В 1388 году, во время правления короля Вацлава Ленивого, толпа горожан напала на еврейский квартал Праги. Евреи должны были отречься от своей веры или умереть. Они не ожидали нападения и не смогли оказать серьезного сопротивления врагу, имевшему к тому же огромный численный перевес.

Старики, женщины, дети и целовские в бою мужчины скрылись в Староновой синагоге. Разъяренная толпа выломала решетки на окнах, выбила дверь и ворвалась вовнутрь. Никто не захотел отказываться от своей веры, и всех — сначала детей на глазах у матерей, затем женщин на глазах мужей — беспощадно убили. Кровь разлеталась брызгами по стенам молитвенного дома и ручьями струилась вдоль стен. Король Вацлав оставил пришествие без суда и наказания".

Предание отстоит от легенды-литературы на степень доверия и на его продолжительность. Я готов верить, будто Грегор Замза, проснувшись однажды утром, обнаружил, что он у себя в постели превратился в странное насекомое, но верить в это я буду, только пока читаю рассказ Кафки.

Приступая к чтению, читатель дает согласие пребывать в мире, где человек может превратиться в насекомое, а волки заговаривают с гуляющими по лесу девочками. Но это не единственное соглашение, которое он принимает, их много, мне иногда хочется отложить в сторону свои писания и составить краткий перечень законов и соглашений, определяющих пребывание читателя в литературных мирах. Впрочем, вряд ли такая задача под силу одному человеку.

Главное из этих соглашений можно обозначить как "подразумеваемая честность". Читатель отдает писателю часть своей жизни, расходуя ее на погружение в придуманный им мир, писатель, в свою очередь, обязуется возместить эту утрату занимательным сюжетом, новым взглядом на известные проблемы, живописной лексикой и прочими до-

стоинствами художественного текста. Открывая книгу, читатель подразумевает, что соглашение будет выполнено, если же такого не происходит, он чувствует себя обманутым и с раздражением оставляет текст.

Отыскивать запятанные намеки, бродить по тайным ходам, прорытым писателем, расшифровывать аллюзии и реминисценции читатель станет только после удовлетворения первого голода, обусловленного вышеуказанным соглашением.

Впрочем, существует еще идеальный читатель, типа тель-авивского прозаика Миши Ю., способного, словно жемчужная устрица, обволочь собою песчинку, превратив ее в драгоценность. Однако отыскать такого читателя куда сложнее, чем написать текст, удовлетворяющий рядовым запросам.

Легенды литературы краше и уютнее преданий; литература в большей своей части — уплощение реального мира, уменьшение количества влияющих факторов. Одна из целей литературы — сделать действительность более понятной, в этом секрет популярности мыльных опер и аргентинских телесериалов. Они создают мир-убежище, в котором зритель чувствует себя уверенно.

Чем ближе мир литературного произведения к реальному, тем меньше у него будет зрителей.

"Профессор Мориарти натуральнее Пьера Безухова, — пишет Эко, — потому что жизнь, вне всяких сомнений, куда больше похожа на "Улисса", чем на "Трех мушкетеров".

Мир, в который попадает читатель, вовсе не обязательно тот же самый мир, в котором находился автор произведения. Интерпретация текста читателем может завести его довольно далеко. В принципе, автор заинтересован в наибольшем количестве интерпретаций: он мечтает об идеальном читателе, мучимом идеальной бессонницей, который угадает, построит, развернет — то есть заставит работать на себя ленивый механизм текста. Для этого хитрый автор расставляет в тексте, словно капканы, разнообразные намеки, куда неминуемо должна угнаться фантазия читателя и повести его по собственному пути.

В одном из моих рассказов я вытащил из давно несуществующего советского Вильнюса фигуру замдиректора по кадрам со странной фамилией Панка. Сочетание должности и фамилии показалось мне достаточно забавным, и я вставил его в "Хранителя могилы" таким, каким сохранила его моя память: от кончиков начищенных ботинок до лысеющей макушки. После опубликования рассказа в Интернете я получил письмо из Вильнюса от бывшего сослуживца.

— Здорово ты описал Панку, — писал сослуживец, — прямо как живой получился.

Реакцию сослуживца я могу определить как нормальную реакцию нормального читателя. Случайно получилось, что он оказался знакомым с одним из персонажей рассказа, но другой человек на его месте легко бы представил своего замдиректора, наделив Панку его чертами.

Реакция идеального читателя, Миши Ю., оказалась принципиально иной.

— Панка, это ведь пан К. — объяснил он мне, прочитав рассказ, — из "Замка" Кафки. И остальное сходится.

И тут идеальный читатель Миша развернул передо мной такую интерпретацию текста, о которой я даже не подозревал.

— Признайся, — спросил он, закончив полет и приземлившись возле меня, — я правильно все разгадал?

— Правильно, Миша, — только и смог пробормотать я, краснея от стыда. Рассказ читателя оказался куда интереснее моего.

Писатель должен помалкивать с интерпретацией собственного текста. Ролан Барт обозначил этот феномен как "смерть автора". Автору следовало бы умереть, закончив книгу, и не мешать читателю своими пояснениями. "Автор, — добавляет Эко, — не более чем текстовая стратегия, определяющая семантические корреляции".

Перед входом в королевский дворец на Градчанах мы столкнулись с группой израильских туристов. Группа стояла, онемев, с широко раскрытыми от изумления ртами. Причина недоумения выяснилась моментально: прямо у входа на площадь, под памятником Масарику, оркестр "Харедим" исполнял "Хатикву". Израильтяне, читающие эту статью, поймут всю странность и загадочность подобного зрелища, а не заслужившим проживать на Святой Земле я предлагаю поверить на слово

ПО ЕВРЕЙСКОЙ ПОМПЕЕ

— иначе пояснения займут несколько страниц. Мы с женой переглянулись, моментально сообразив, в чем тут дело, и принялись ожидать развязки. Спустя несколько минут к начинающим отходить от каменного оцепенения туристам вернулся гид, ходивший, по видимому, отмечать входные билеты, и тут же принялся за работу.

— Видите ли, — объяснил он, — бороды, черные шляпы и черные костюмы не являются однозначной принадлежностью еврейских ультраортодоксов. В Чехии, например, так одеваются музыканты.

— Но почему они играют "Хатикву"? — не унимались туристы.

— Ну, — предположил гид, — наверное, они увидели группу израильтян и в знак приветствия исполнили гимн Израиля. Чехи вообще очень гостеприимная нация, вы разве не заметили?

— Заметили, заметили, — закивали туристы, и в футляр от контрабаса, призывно распахнутый на мостовой перед оркестриком, посыпались монетки.

Довольная группа двинулась на осмотр дворца, а мы продолжали слушать симфоническую поэму Б. Сметаны, один из мотивов которой послужил основой для "Хатиквы".

Интерпретация ситуации меня позабавила, и я с удовольствием рассматривал площадь, фасад дворца, торжественную смену караула. Случайно бросив взгляд на фигуру Масарика, я оторопел: над музыкантами возвышался памятник тель-авивскому поэту Петру М. Не веря своим глазам, я принялся разглядывать лицо монумента и оторопел еще больше: Петр-Масарик подмигнул мне правым глазом и произнес, вытягивая перст по направлению к толпе туристов:

— Эпоха кабре.
Я обернулся к Анне, чтобы рассказать ей о невероятном поведении памятника, и увидел, что она тоже смотрит на монумент.

— Видела? — спросил я, и бесчисленные реминисценции на классические сюжеты закружились в моей голове.

— Что видела? — уточнила Анна.
— Ожившую статую!
— Статуя — нет, но я видела, как абсентный подход может превратить поэму "Влтава" в "Хатикву".

Дальнейший разговор о последствиях умеренного потребления черного кофе я решил оставить вне рамок этой статьи. Одного до сих пор не пойму: на что намекал поэт М.?

Название произведения — тоже авторская интерпретация, подказка, с помощью которой направляют или, наоборот, запутывают читателя, обращая его внимание на некоторые особенности текста. Автор, заинтересованный в максимально большем количестве интерпретаций, стимулирует фантазию читателя, например, заглавие "Капитанская дочка" фокусирует внимание на второстепенной фигуре повествования, хотя для повести Гринев или Пугачев представляют куда больший интерес.

Размышляя о названии, читатель волей-неволей начинает думать, почему в центр поставлена фигура дочери капитана, и отыскивать объяснения, то есть — интерпретировать. Название "Замок" слегка притупляет главную фигуру романа — Иозефа К., а "Голем" выводит из тени на первый план персонаж, вообще не участвующий в повествовании. О многозначности названия "Улисс" написана целая библиотека.

"Заглавие одного из самых знаменитых и читаемых романов за всю историю человечества — "Три мушкетера", — пишет Эко, — повествующего на самом деле о четырех мушкетерах, можно отнести к гениальной оплошности, но такого рода рассеянность может позволить себе только очень большой писатель".

Мои разговоры с мэтром А. всегда заканчиваются одинаково.

— Яша, — говорит мэтр, — ты хорошо пишешь, ты даже очень хорошо пишешь, но вот названия твоих произведений никуда не годятся. Названия — имя книги, а ты как нарочно выбираешь такие, что сбивают читателя с толку. Ну кто, кто, скажи на милость, может понять, о чем рассказывается в книге "Шахматные проделки бисквитных зайцев"? Или "Астральная жизнь черепахи"? А ты назвал роман вопиюще плохо: "Вокруг себя был никто". Ты-то сам можешь объяснить смысл такого названия?

— Могу, — отвечаю я с самой почтительной из интонаций.

— А вот читатель не сможет! — торжественно восклицает мэтр. — Он повертит в руках твою книгу и положит ее обратно на прила-

вок. Посмотри, как называли свои произведения наши великие предшественники: "Анна Каренина", "Ярмарка тщеславия", "Гроздья гнева", "Герой нашего времени". Одно название — уже половина успеха. Ты знаешь, сколько лет Толстой сочинял название "Война и мир"?

Я бы все твои книги взял и переназвал, все, без исключения. Измени, измени, пока не поздно название романа. Потом жалеть будешь, мол, предупреждал меня старик А., а я его не послушал...

С мэтром я не спорю, я ведь не бат-ямский поэт Павел Л. Тот ругается с ним так, что жена мэтра начинает успокаивать и разнимать спорщиков. Павел вообще известный литературный скандалист.

Мэтра я внимательно выслушиваю, но большую часть замечаний оставляю в стороне. Примером такого поведения служит сам мэтр.

— Мою первую повесть, — рассказывал он мне, — редактировал Константин Паустовский. Рукопись вернулась со множеством исправлений и поправок. Но главное — с очень теплым отзывом. Я внимательно перечитал все замечания и согласился только с одним: в мое описание южного дождя Паустовский добавил эпитет — тяжелый.

Книга вышла, и я со страхом и почтением подарил ее Константину Георгиевичу. Спустя несколько дней мы случайно встретились в доме одного общего знакомого, Паустовский подошел ко мне и крепко пожал руку.

— Молодец, — сказал он. — Другой бы всем растроубил, что его рукопись редактировал Паустовский, а ты все вычеркнул. Молодец!

— Запомни, Яша, — заключает наши разговоры мэтр, — в тексте ничего не спрячешь, в тексте выносятся наружу все симпатии и антипатии автора, дурные привычки, страхи и фобии. Взяв в руки перо, ты оказываешься на сцене под жестким светом читательских взглядов. Собственно, каждая книга и есть театр, театр одного актера. И этот актер — ты, писатель.

В один из погожих пражских вечеров мы с женой собрались в театр. Все сувенирные магазины этого города увешаны марионетками различных размеров и форм. Тут и ведьмы, и забавные животные, и евреи в ортодоксальных нарядах, и рыцари, и герои сказок. Прага славится своими театрами марионеток, и мы, перебрав несколько афиш, купили билеты на "Дон Джованни" Моцарта.

"Ах, мои пражане, они понимают мою музыку!" — воскликнул Моцарт после триумфального успеха в Праге "Женитьбы Фигаро". Премьера этой оперы в Вене закончилась грандиозным провалом.

В знак благодарности за столь теплый прием Моцарт специально для пражского Театра сословий написал "Дона Джованни".

Вход в здание оказался неподалеку от Карлова моста, в одном из дворов Карловой улицы — центральной туристской магистрали. Мы долго взбирались по крутой винтовой лесенке, пока не оказались в небольшом зале, прямо под скатами крыши дома. В Израиле пожарная инспекция закрыла бы этот театрик еще до премьеры: выход из зала, облицованного деревянными панелями, был только один — та самая винтовая лесенка. "Случись, не дай Б-г, пожар, — подумал я, — отсюда никто не выйдет".

Подумал, но промолчал, не желая портить жене удовольствие от спектакля.

Действие началось, куклы были забавны, и актеры управляли ими довольно ловко, но представить себе, будто эти смешные сооружения и есть дон Джованни или Лепорелло, я смог только благодаря музыке. Моцарт все перевернул, смешал и переделал; в мире, созданном силой его гения, веревочки над куклами, дружины, мелькающие пальцы куколочек и прочие атрибуты плохо замаскированной театральной механики стали совершенно неважны: главное, чудо создания новой реальности, произошло.

Начало представления напомнило мне чтение романов Льва Толстого: первый абзац читать невозможно, сквозь второй продираешься с трудом — написано небрежно, неряшливо, повторение слов, чудовищного размера фразы, неточные эпитеты, и вдруг... то самое вдруг, на котором зжидается искусство; текст исчезает, перед мысленным взором раскрывается мир, и начинается абсент: герои ходят, разговаривают, живут своей жизнью, читателю остается только наблюдать и отождествляться.

Опера шла на итальянском языке, но моя жена, знающая наизусть либретто, нашептывала мне на ухо синхронный перевод. Торжественность музыки и арий несколько нарушалась поведением кукол, в лучших традициях балагана, породившего театр марионеток, дон Джованни заглядывал под юбку донне Ан-

не и Церлине, по-уличному дрался с Командором и Мазетто, словом, вел себя, как нормальный чешский босак. Режиссер спектакля намеренно придал представлению пародийно-балаганский смысл, наверное, ему казалось, что оперный пафос тут неуместен. Или, что не менее вероятно, дон Джованни, пропущенный через призму его восприятия, должен был выглядеть именно таким образом.

Автор пишет всегда о себе, только о себе. "Мадам Бовари — это я", и как бы сочинитель ни отмежевывался от лирического героя, утверждая, будто их разделяет дистанция огромного размера, каждый вздох и вскрик текста рождается в груди автора и помечен неистребимым клеймом его личности.

Причина, по которой Пушкин переделал дон Джованни в дон Жуана, переместив действие из Италии в Испанию, мне неизвестна, но почему Командора, отца донны Анны, он превратил в ее мужа, можно предположить. Александр Сергеевич, известный соблазнитель чужих жен, куда лучше понимал чувства обманутого супруга, чем гнев отца, оскорбленного бесчестьем дочери.

Автор создает свой мир, модель действительности, построенную по собственным законам. Они могут быть бесконечно далеки от законов реальности, в которой мы существуем, главное условие — чтобы модель действовала в соответствии с собственными законами, то есть была внутренне непротиворечивой. Тогда придуманный мир сам укажет, куда должен развиваться сюжет и как будут вести себя персонажи.

"Идеалистическая болтовня" — так определяет Эко заверения авторов, будто персонажи-де живут самостоятельной жизнью, а писатель лишь сомнабулически протоколирует происходящее. Такого рода рассказы распускают авторы, не удосужившись изучить правила и создать непротиворечивую модель. Психологические пробы в поведении героев они пытаются замаскировать баснями о самостоятельной жизни персонажей, дабы убедить читателей, будто их мир живет. Это неправда. Если придуманный мир живой, то поступки героев не вызывают недоумения.

Майзелева синагога оказалась рядом с метро "Староместская площадь". Солнце уже перевалило через зенит, обозначая время полуденной молитвы. Я сунулся в роскошный вестибюль синагоги, но тут же был остановлен суровым окриком. Вместо молитвы меня ожидал театр.

— Вы куда это? — вопрошала суровая чешка преклонных годов. — А билет?

— Какой билет?
— В музей.
— Я не в музей, я в синагогу, молиться.
— Покупайте билет и делайте, что вам угодно.

Разговор происходил на смеси русского и английского, иврит служительница не понимала. Осмотревшись, я обнаружил нескольких работников музея откровенно славянской принадлежности, их благородные блондинистые лица возвещали: купи билет!

Бедный, бедный Мордехай Майзель! Если бы ты знал, что за право молиться в твоей синагоге чехи берут с еврея деньги!

Над застекленным окошечком кассы красовался преискусант: вход в музей — 8 долларов, за вход во все музеи-синагоги еврейского квартала в течение одного дня — 15 долларов.

"Везет мне на представления, — подумал я, — первый раз в жизни буду платить деньги за то, чтобы попасть в синагогу. Нет, это не театр, это цирк! Ладно, приеду завтра, с самого утра, и обойду все "музеи". Я пока помолюсь у наружной стены".

Слева от центрального входа была небольшая ниша с дверью. По всей видимости, когда-то через эту дверь попадали в микву. Я устроился в нише и спокойно приступил к молитве. И вот тут начался настоящий театр!

За пятнадцать минут моей молитвы у решетчатой ограды синагоги собралась небольшая толпа. Анна, ожидавшая меня возле ограды, слышала удивленные возгласы туристов: — Смотри, еврей! Точно, настоящий еврей. — А что он делает?

— Молится, наверное. Точно молится. Смотри, смотри, настоящий еврей и молится.

Оживший музейный экспонат. Наверное, подобный эффект мог возникнуть в каком-нибудь средневековом замке, если бы стоящие у камина рыцарские доспехи вдруг вытащили меч и приступили к фехтовальным упражнениям.

Евреев в Праге больше нет. Кроме туристов, разумеется. Вот их-то оказалось более чем достаточно. Но настоящих, местных евреев встретить так и не удалось. Может быть, они существуют где-то, в таинственном полу-

мраке проходных дворов и комнат со стрельчатыми окнами, но их присутствие в современной Праге незаметно даже заинтересованному взору. Лишь тени великих предшественников мелькают на раззолоченных стенах роскошно отреставрированных синагог, превращенных индустрией чешского бизнеса в туристскую аттракцию.

Чехи зарабатывают на отсутствии евреев больше, чем на их присутствии. По району бывшего гетто бродят стада туристов, на входном билете администрация указывает маршрут вашей прогулки, с точностью до минуты предписывая, какую синагогу и когда вы должны посетить. Просто железнодорожное расписание какое-то, а не билет!

Бедный, бедный Мордехай Майзель! О постройке его синагоги сложено немало легенд, и одну из них я не могу не привести.

"Двести лет назад глава еврейской общины Праги рав Ицхак возвращался из дальней поездки. Наступил вечер, кучер, хвативший по причине мороза изрядную дозу сивилища, задремал на козлах, лошади сблизилась с дороги. Остановившись в густом лесу, они постояли несколько минут и вдруг вздыбились, заржали так, что раву Ицхаку стало страшно, а вмиг проснувшийся кучер кубарем слетел в сугроб.

Сквозь деревья мерцал синеватый огонек, лошади дрожали, но не двигались с места. Отводя в сторону покрытые инеем морды, рав Ицхак завязал им глаза и двинулся на свет.

Спустя несколько минут он оказался на поляне, посреди которой дрожало голубое сияние. Два маленьких человека с длинными седыми бородами прилежно вытаскивали из сияния золотые слитки, наполняя ими огромный сундук. Некоторое время рав Ицхак наблюдал за их работой, а потом спросил:

— Для кого вы наполняете этот сундук?
— Не для тебя, — злобно ответил один из человечков и исчез. Вместе с ним пропали сияние и сундук, только несколько кусочков золота остались на снегу, посверкивая в лунном свете.

— Своим вопросом ты причинил себе огромный вред, — сказал второй человечек. — Золото предназначалось для тебя, но теперь его получишь твой будущий зять. Только не ошибись, выбери его правильно.

Человечек исчез, три кусочка золота продолжали сверкать в лунном свете. Рав Ицхак задумался: его дочери недавно исполнилось одиннадцать лет, думать о замужестве было еще рано. Он подобрал кусочки золота и вернулся к лошадям.

Несколько дней рав Ицхак размышлял о том, как определить будущего зятя, и, не найдя ответа, решил прибегнуть к помощи Небес. Завернув кусочек золота в перепачканную тряпку, он выбросил его за окно.

"Того, кто подберет тряпку, — решил рав Ицхак, — наверняка направляет Высшее Провидение".

Окно выходило на оживленную улицу, но, несмотря на это, тряпка пролежала незамеченной почти до наступления темноты. Уже в сумерках пробегающий вприпрыжку мальчишка, одетый в лохмотья, одним движением подхватил ее и, не замедляя бега, скрылся за поворотом.

Удивленный странном распределением благосклонности Небес, рав Ицхак решил повторить проверку и на следующий день поступил таким же образом. История повторилась с устрашающей точностью: пробегающий мимо дома тот же самый мальчишка подхватил на бегу тряпку и исчез. Впрочем, далеко убежать ему не удалось: слуги рава Ицхака, простоявшие целый день на морозе в ожидании незнакомца, бросились вдогонку и заметили дом, в котором скрылся мальчишка.

Спустя час глава общины знал все о своем будущем зяте. Звали его Мордехай Майзель, его отец, прежде чем ослеп, работал носильщиком, а мать держала маленькую лавочку, доходов от которой едва хватало на нищенское пропитание. Семья была одна из самых бедных в общине, и породниться с ней раву Ицхаку казалось немислимым.

На следующий день он спрятал последний кусочек золота в тряпицу и выбросил ее за окно. Результат оказался точно таким же. Деваться было некуда, но в качестве последней уловки рав Ицхак решил проверить моральные качества претендента. Приказал объявить в общине о пропаже золота; если мальчишка не вернет слитки, он — нарушитель закона, в таком случае рав Ицхак может со спокойным сердцем выбросить его из головы.

Мальчишка явился спустя полтора часа и, положив на стол рава Ицхака два кусочка золота, понурил голову.

— Третий я дал матери, чтобы она рассчиталась с долгами. Но мы вернем и его, как только сможем.

(Окончание на странице 6.)

ШЕСТЬ ПРОГУЛОК ПО ЕВРЕЙСКОЙ ПОМПЕЕ

(Окончание. Начало на страницах 4 — 5.)

— Почему ты не оставил себе все три кука? — спросил глава общины. — Ведь тебя никто не видел.

— Лучше я останусь бедняком, — ответил мальчишка, — чем получу богатство запрещенным путем.

"Небеса не ошибаются, — подумал рав Ицхак, — ошибаются люди в своих предположениях и расчетах".

На следующий день он отправил мальчика учиться в лучшую ешиву, а спустя четыре года обручил со своей дочерью. Пражские евреи были поражены странным союзом дочери самого уважаемого члена общины с сыном носильщика. Но рав Ицхак не обращал на пересуды никакого внимания, и спустя год пару повели под хупу во дворе Староновой синагоги.

После семи дней свадебного пира рав Ицхак решил, что пришло время забирать обещанный сундук. Вместе с Мордехаем он уселся в экипаж и отправился на то место, где несколько лет назад подобрал три куса золота. Зять с тестем провели в лесу целую ночь, но ни сияние, ни человечки, ни золото так и не появились. Раздосадованный рав Ицхак вернулся в Прагу, утешая себя мыслью, что время, видимо, еще не настало.

Прошли годы, пролетели многие и многие ночи, проведенные в лесу, и глава общины начал считать происшедшее происками злого духа, смутившего его разум. Разочаровавшись, стал все холоднее относиться к зятю, пока отношения между ними не стали раздражительными и тяжелыми. Тогда-то Мордехай Майзель вместе с женой покинул дом тестя и стал жить отдельно, открыв небольшое торговое дело. Благодаря честному характеру и незаурядному уму он всего за несколько лет сумел превратить дело в процветающий магазин.

Однажды к нему явился бедно одетый крестьянин и попросил о кредите.

— У меня сейчас нет денег, — сказал он, — но некоторые вещи, которыми вы торгуете, мне очень нужны. Не могли бы вы отпустить их в долг?

— Если они вам действительно нужны, — ответил Майзель, — возьмите их бесплатно. Появятся деньги — вернете, не появятся — считайте это подарком.

Обрадованный крестьянин собрал с полок нужные ему предметы и тут же предложил Майзелю выгодную сделку.

— У меня дома, — сказал он, — многие годы стоит огромный железный сундук, который никто не может открыть. В благодарность за вашу доброту я готов уступить его по цене лома.

Сундук Майзелю был ни к чему, но что-то в словах незнакомого заставило его принять предложение. На следующий день к магазину Мордехая подъехала телега с большим сундуком. Сундук еле стащили с телеги и водрузили на весы. Подсчитав полученные деньги, крестьянин обрадовался и уехал, благословляя Майзеля за щедрость, а себя за сообразительность. Больше его никто не видел.

Вечером Мордехай, вооружившись топором и долотом, приступил к взлому. К его удивлению, огромный замок слетел после первого удара. Удивление Майзеля переросло в оторопь, когда, откинув крышку, он увидел, что сундук заполнен золотыми слитками.

О находке Майзель не рассказал никому, даже жене. В том, что эти деньги дарованы свыше, он не сомневался и потому не чувствовал себя вправе использовать их на свои нужды.

На всякий случай он прождал целый год, ожидая возвращения крестьянина, и когда после тщательных поисков выяснилось, что ни в одной из окружающих Прагу деревень никогда не проживал такой человек, начал пользоваться полученным богатством.

Майзель направился к самому праведному из пражских раввинов и договорился о постройке синагоги, красивее которой не будет во всей Чехии. Раввин пообещал хранить в тайне имя дарителя, и работы начались. Наконец синагога была завершена, и со всей страны стали съезжаться евреи, дабы ознакомиться с великолепным зданием. Молиться в ней хотели все богачи Праги, и поэтому место стоило солидную сумму. Майзель, считавшийся к тому времени состоятельным человеком, тоже купил себе место в дальнем конце зала.

Прошли годы, Мордехай Майзель так и не раскрыл своей тайны, а золото из сундука по-прежнему передавал равнину для помощи беднякам и сиротам. Только перед самой смертью, когда стало известно, что дни Мордехая сочтены, раввин раскрыл имя жертвователя.

Рав Ицхак, доживший до глубокой старости, в великом смятении примчался в дом своего зятя. Не в силах вымолвить ни слова, он сидел у постели умирающего, и слезы катились по его щекам.

Вернувшись с похорон, жена вскрыла сундук. Он оказался пустым".

На следующий день мы купили билеты и пустились в путешествие по еврейским "музеям". Передавая кроны в окошко кассы, я вспоминал неизвестного чешского крестьянина. Видимо, богатство, полученное Мордехаем Майзелем, было дано взаимно, и теперь пришло время его возвращать.

На старом кладбище, рядом с могилой Магаралы, я достал привезенные из Израиля свечи, зажег их и принялся читать теилим — псалмы Давида. В течение нескольких часов я снова превратился в главную еврейскую достопримечательность Праги. Прочитать от начала до конца книгу "Теилим" — непростая штука, это занимает много времени и требует сосредоточенности. Но сосредоточиться оказалось непросто.

Выяснилось, что могила создателя Голема — не менее людное место, чем станция метро в часы пик. Группы туристов валили одна за другой, языки народов Европы и Азии несомлаемым гулом висели над кладбищем. Редкое зрелище молящегося еврея вызвало возгласы удивления, сопровождаемые шелком затворов. По счастью, только фотоаппаратных. Но иллюзий у меня не возникло: часть присутствующих, будь у них возможность, для моего увековечения воспользовалась бы другим видом техники.

Иногда поднимая глаза, я наткнулся на обнаженные женские пупки, откровенно просвечивающие кофточки, оголенные плечи — август в Праге, конечно, не израильское лето, но тоже весьма теплое время года. Ни в одну церковь туристов в таком виде бы не пустили, здесь же, кроме миниатюрных бумажных кипочек, предлагаемых у входа на кладбище, никто никому не препятствовал: ходи, как хочешь. Чем провинился Магараль, что возле его могилы бродят праздной толпой полураздетые чужестранки?

Еврейской Праги не существует. Но аура тысячелетнего еврейского присутствия в этом городе висит над улицами, словно серебристый туман. Дрожащее мерцание овеивает кладбище и синагоги, прячется в камнях старых домов, точно рука кукольника в кукле. Чтобы ее увидеть, нужно раскрыть "Теилим" и произнести несколько слов на древнем языке. Стоит прикоснуться к ней мыслью, как она тут же возникает перед вашим взором, прорастая сквозь бетон и позолоту реконструкций. Другая реальность, отсутствующая в мире и скрытая от нас всего лишь углом зрения.

— Ты не прав, — сказала Анна, прочитав эти строки. — Евреев нет, но могильные плиты, заполненные надписями, по которым скользят взгляды туристов, сохранились. Сотни тысяч людей платят за это зрелище немалые деньги, то есть усматривают в нем ценность. Тут тоже действует своеобразный контракт: дирекция "музеев" предлагает синагоги и кладбища как некую ценность, а посетители, платя деньги, подтверждают тем самым предположение дирекции.

Приехавший из другой страны турист, созерцая могильные плиты, на несколько минут соединяется со стоящей за ними духовностью, придавая ей новые силы. Он, живой и присутствующий здесь, становится в некотором смысле частью этой духовности и материальным воплощением тех, на чье отсутствие указывают надгробия. Каждый купленный билет есть доказательство непреходящей ценности исчезнувшей еврейской общины Праги.

Неподалеку от Майзелевой синагоги, у бывшей границы еврейского гетто, висит мемориальная доска: "На этом месте находился дом, в котором родился Франц Кафка". Прямо под мемориальной доской расставлены столики ресторана "У Кафки". Впрочем, ресторанные столики в Праге располагаются практически в любом месте, их можно обнаружить везде, кроме разве что усыпальницы чешских королей.

"У Кафки" в тот день подавали стейки из черной пиренейской свинки, холодное свиное колено и "утопленник".

О черной пиренейской свинке я никогда не слышал, но воображение моментально нарисовало некое милое и неконформистское животное, свободно бегающее по Пиренеям. Представить его в роли съедобного мяса мое воображение отказывалось; никакое количество абсента не помогло бы превратить эту свинку в еду.

Пропустив первые два лакомства, я остановился на третьем. Интересно, какую часть утонувшего тела мертвого человека здесь подают и как часто такие тела обнаруживают во Влтаве? Дальнейшее предположения о квоте распределения филейных частей между ресторанами Праги были прерваны объяснениями официанта. Оказалось, что "утопленник" — это всего-навсего сосиска, утопленная в соусе из пива, а делают ее из самой заурядной свиньи, у которой, вероятно, предвзвешенно выламывают колена.

Пока я забавлялся изучением меню, Анна рассматривала книжку, купленную на Старо-

местской площади. Особенность книжного магазина заключалась в том, что он располагался в помещении бывшей фирмы Германа Кафки, отца писателя. Магазин назывался, естественно, "У Кафки", а книга "Франц Кафка и Прага".

Немного покругив по улицам, мы оказались перед заманчивой вывеской: "Ирландское кафе "У Джойса". Здесь нет незнакомцев, здесь только друзья, которых вы еще не встретили".

Из окон доносилась русская речь, сдвинув столики, тут сидела туристическая группа. В меню можно было не заглядывать: лица сидящих слишком напоминали то, что они ели. Избегая прикасаться к тарелкам, мы уселись в дальнем углу кафе, подальше от предполагаемых друзей, заказали неизменный черный кофе с рюмкой абсента и заговорили о литературе. О чем, как не о ней, можно рассуждать в кафе под таким названием? Речь пошла об энигматической общности, казалось бы, столь непохожих писателей: Кафки и Джойса.

Писатель способен увидеть то, чего нет, воссоздать отсутствующее, вдохнуть в него жизнь. Соединяя разрозненные факты, осевшие в его памяти, он формирует реальность, способную на несколько часов заставить другого человека отвлечься от существующего. Иными словами, писателю должно быть подвластно волшебство абсента.

Процесс создания текста можно разделить на два этапа. Первый — собственно написание, когда автор ведет диалог с прочитанными книгами. "Каждая книга говорит только о других книгах и состоит только из других книг", — утверждает Эко. Джойс хорошо вписывается в эту концепцию, Кафка — куда хуже.

На втором этапе начинается диалог между текстом и читателем. Главный вопрос этого этапа: на какой диалог рассчитывает автор?

Один тип писателей ориентируется на удовлетворение вкуса публики, такого, как он есть. Другой тип — в этом Джойс и Кафка сходятся — старается сформировать нового читателя. Когда Набоков писал своего "Соглядатая", читателя, так подробно вписывающегося в извивы текста, на русском языке еще не существовало.

В первом случае автор начинает с некоего исследования рынка, а затем подстраивается под его законы. Такого рода книги могут оказаться удачными и весьма читаемыми.

Ознакомившись с рукописью одной известной израильской писательницы, я обнаружил, что она невольно повторила сюжет новеллы Борхеса. Писательница Борхеса терпеть не могла и этой новеллы не читала; сюжет она придумала сама. Я пустился в длинные рассуждения о довольно известном в литературе феномене повторения, упомянул "удар со стороны классика" и предложил ей вплести имя Борхеса в ткань повествования так, чтобы вместо копирования сюжета получилась литературная игра.

— Дорогой мой, — сказала писательница, — оставьте меня с вашим постмодернизмом. Я хочу, чтобы мою прозу читали не только вы и Миша Ю., а обыкновенные люди, не понимающие всех этих штук.

Проблема в таком подлаживании под читательский вкус проявляется на второй или третьей книге; шаблон, избранный писателем, начинает сжимать его воображение, подобно удаву.

Второй тип предполагаемого диалога — менее благодарный для автора, но может оказаться куда более перспективным. Автор указывает читателю, чего хотеть, кого любить, на что обращать внимание. Он формирует новый вкус и нового читателя. Редкий сплав интуиции, мастерства и удачи. Удастся такое немногим, но если удастся — можете рассчитывать на мемориальную доску на доме, где вы родились.

Оборотная сторона такой концепции породила широко распространенное мнение, будто текст пользуется успехом у читателей, только если он развлекает. Публика получает то, чего она хочет, а значит, произведение ничего нового в себе не несет. Успех превратился в дурной знак, а популярность — в символ недоброкачественности.

Главным показателем ценности работы стал скандал. Отсюда попытки авторов шокировать публику ненормативной лексикой и эротическими описаниями. Авторы ищут скандала, не понимая, что настоящей литературный скандал приносит структура и философия текста, а не дурно пахнущие подробности.

Еще один забавный эффект литературы как гипертекста, разработанного Джойсом: невозможность простого описания. Современный автор слишком образован, дабы позволить персонажу произнести фразу типа: иду к "Максиму" я, там ждут меня друзья. Слишком, слишком просто! Но если он промолвит:

как неоднократно упоминается в "Веселой вдове", иду к Максиму я, — фраза будет принята, удовлетворив голод цитирования и зуд образованности, хотя, в конечном итоге, персонаж все-таки идет к "Максиму" и не более.

Последний вечер в Праге мы провели на Староместской площади.

"Здесь была моя гимназия, — рассказывал Кафка своему учителю иврита Фридриху Тибергеру, — там, в здании, которое виднеется на другой стороне, — университет, а немного дальше слева — мое бюро. В этом маленьком кругу, — он обвел пальцем площадь, — заключена вся моя жизнь".

Сидя за столиком кафе "Милена", мы наблюдали, как медленно угасают краски на фасадах домов, как яростно багровеют в лучах заходящего солнца шпили ратуши, как собираются толпы туристов поглядеть на "астрономические часы".

Солнце скрылось, и после недолгих сумерек площадь осветили фонари. Аккуратно и точно расположенные прожектора выгодно подсветили архитектурный ансамбль, придав ему новое очарование. Только черная громада памятника Гусу осталась неосвещенной: это не на потребу туристам, это святое.

Желтые шары фонарей рассыпали по брусчатке площадки золотые блики, аромат свежеваренного кофе переплетался с влажным дыханием сумерек. Дневная Прага исчезла, волшебное покрывало темноты обратило тени дрожащей под ночным ветерком листья в силуэты исторических персонажей, а легенду — в предание.

— Абсент, — произнесла Анна, — словно прожектор, высвечивающий одни контуры и скрывающий другие, создающий ночной город, отличный от того, который мы видим днем. Тончайшее равновесие между существующим (present) и не существующим (absent), наполняющим и опустевшим, присутствующим в Праге, и символом этого равновесия является абсент!

Кафе располагалось возле дома, куда ходил в литературную студию Франц Кафка. Наблюдая за бойкой торговлей, я думал, что Кафка, проработав больше десяти лет служащим страховой компании, не получил за все время своей службы даже трети вечерней выручки кафе, названного в честь его возлюбленной. Деньги и литература несовместны.

Презрев религию, оставив общину, отравившись от семьи ради писательства на немецком языке, Кафка представлялся евреям Праги странным насекомым. Так же, как и Грегор Замза, Кафка перед смертью пришел к заключению о бессмысленности своего существования и приказал Максиму Броду сжечь рукописи неопубликованных романов. Брод не выполнил завещания друга, в результате чего европейская литература обогатилась еще одним писателем. О вреде, нанесенном душе Кафки поступком Брода, нам предстоит узнать после наших ста двадцати.

"Путеводитель по Праге" лежал на столике между двумя чашечками "эспрессо". На одной из его страниц мы обнаружили небольшую заметку.

"Современный абсент безопасен, — утверждал "Путеводитель", — поскольку содержит незначительное количество туйона. Рассказы о якобы переживаемых галлюцинациях можно полностью отнести на счет воображения рассказчиков".

Мимо катали расфранченные экипажи пражских извозчиков: уши лошадей закрывали красные шапочки, гривы украшали разноцветные ленты, тихо звенели колокольчики в сбруе, а сами экипажи походили на сказочные кареты, везущие туристских Золушек на королевский бал в картонный дворец. Ведь их платя, лошади, кучера, лакеи на запятках — не более чем плод абсентного воображения.

Да и сам Кафка, главная туристская attraction Праги, такой, каким его представляют себе десятки тысяч любителей литературы, — миф наподобие Золушки. Возможно, такого Кафки никогда и не существовало, как и дурманящих свойств абсента.

"Сто лет назад, — утверждал "Путеводитель", — стремительно растущая популярность этого напитка начала приводить к снижению потребления вина. Лобби производителей вина распустило слухи о "зеленой пагубе человечества" и добились запрещения абсента".

Распроцавившись с очередной иллюзией, мы перелистали "Путеводитель" вдоль и поперек, но больше не нашли ничего нового. Шесть рекомендуемых маршрутов были пройдены от начала и до конца.

Золотая Прага, золоченая еврейская Помпея, тихо погружалась в глубину памяти, не смотря на то, что вершины ее ратуши, подсвеченные прожекторами, еще сияли перед нашими глазами.